

Это была не самая светлая полоса моей жизни. И казалось, конца этой широченной почти беспросветной полосе не будет...

А началось всё в предзимнем, сыром сером Петербурге, где я учился в аспирантуре. Неожиданно для всех, кто меня знал, я после удачной переаттестации на третий, заключительный, учебный год, за которым, как правило, следует защита кандидатской диссертации, руководствуясь какими-то неясными, даже для самого себя, мыслями, вдруг написал заявление с просьбой об отчислении меня из аспирантуры.

Окончив охотоведческий факультет Иркутского сельхозинститута и проработав после этого два года стажёром-исследователем в единственном в стране Лимнологическом институте на Байкале, я дерзнул послать заявку на поступление в аспирантуру. В один из лучших в Российской академии наук институтов – Зоологический, расположенный на стрелке Васильевского острова. Почти напротив Эрмитажа, на другом берегу Невы. Попасть с левого берега на правый, или наоборот, можно было, перейдя не такой уж длинный Дворцовый мост... Хотя тогда, отослав по почте заявку на единственное вакантное место в престижном институте, я всей этой географии ещё не знал. Как не знал и того, что на место это, по специализации «Биология», были поданы заявки ещё двух соискателей. Один из них окончил Московский, а второй – Ленинградский университет.

Диалог моих конкурентов, негромко говорящих, состоял из немногочисленных реплик и сводился к следующим любезностям: «Если бы я не родился в Питере, я бы хотел родиться в Москве...»; «А если бы я не родился в Москве, я бы хотел родиться в вашем прекрасном городе...», чем изначально, с самого рождения, подчёркивалась исключительность обоих. И, может быть, поэтому я мысленно, в сердцах, отвечал этим шептунам: «А вот если бы я не родился в Сибири, то и вообще б родиться не хотел».

Время от времени я подбадривал себя тем, что биологию у нас на факультете преподавали очень хорошо. К тому же на многочисленных промысловых и учётных практиках в тайге я изучил эту самую биологию не только теоретически – на лекциях профессора Василия Николаевича Скалона, но и практически, прощупав, так сказать, почти каждую косточку: будь то норка, соболь, колонок, таймень, сохатый ли...

Почему мой будущий руководитель, присутствующий на аттеста-

ции с правом решающего голоса, выбрал именно меня, я за два года работы с ним так до конца и не понял. И не потому, что он был скрытным человеком, а потому, что я этим вопросом просто никогда не задавался. На биостанции, правда, поговаривали, что шеф как-то высказался по этому поводу: «Мне не нужна была ещё одна голова – мне и своих мозгов хватает. Мне нужны были ещё одни руки...»

– По окончании аспирантуры какое-то время поживёшь в аспирантском общежитии. Комнату я за тобой оставлю, – рисовал мне радужные планы шеф после длившейся не менее полутора часа переаттестации на третий год аспирантуры. – А там – защитишься, в моей лаборатории тебе местечко сыщем... А там, глядишь, женишься на какой-нибудь питерской барышне с квартирой – и все проблемы будут решены. Тем более что с нашими, стоит признать, чудосочными, увы, девицами у тебя проблем, насколько мне известно, никаких, – подмигнул мне мой моложавый, обычно немногословный, руководитель, бодро шагая по коридору. Ведь только что состоявшаяся переаттестация, – из-за разногласия каких-то плохо понятных мне школ и направлений, – была более успешной для него, чем для меня. – Ты же у нас, – обернулся он ко мне, едва поспевающему за его широким, уверенным шагом, – «крепкий сибирский мужичок». Знаешь этот анекдотец?

Мы уже подошли к нашему отделу «под крышей», чем-то, может быть, скошенным потолком, напоминающим мансардное помещение, на третьем этаже.

– Не знаю, – устало, не в тон шефу ответил я.

– Ну, ты даёшь! Тебе его надо знать! – сделал он нажим на слове «надо». – Слушай! – Шеф остановился у высокого окна на Неву.

Я, немного поразмыслив, присел на широкий невысокий подоконник, нарушая субординацию и, безразлично глядя то на реку, то на чересчур оживлённого, удачливого (пятидесяти нет, а уже доктор наук!) шефа, а он, опершись плечом о стену, в идеально сидящем на нём добротном костюме, начал рассказывать анекдот про крепкого сибирского мужичка.

Шеф весело хохотнул рассказанному анекдоту, который мне смешным не показался хотя бы потому, что стало искренне жаль крепкого сибирского мужичка. Впрочем, шагая вместе с шефом, я понимал, что основной причиной такой несвойственной его весёлости был не только что рассказанный анекдот, а закончившаяся буквально несколько минут назад после нешуточных дебатов аттестация, после которой его «за хорошее руководство аспирантом» похвалил сам академик Скорлато. Часть похвалы бумерангом, «за упорство и трудолюбие» и уже от моего патрона, в его ответном слове «высокому собранию» и директору института досталась

и мне. Однако я, в отличие от моего шефа, радости особой не испытывал. Более того, чувствовал, что мне надо что-то серьёзно и безотлагательно обдумать. Хотя, что именно, я этого наверняка ещё не знал.

– Ну, ладно, я к себе, – кивнул мне на прощанье шеф, уже распахивая дверь кабинета, сбоку от которой на медной дощечке были перечислены все его научные регалии. – Дня через два – зайди, обсудим статью в Гидробиологический журнал. Экспериментальные данные, надеюсь, у тебя уже приведены в порядок?

– Они в полном порядке, сэр, – браво доложил я, вытянувшись во весь свой немогучий рост.

– А насчёт женитьбы, действительно, подумай, – в дверях остановился шеф, снова обернувшись ко мне и, кажется, совсем не обратив внимания на мой экстравагантный ответ. – Дело это серьёзное и крайне необходимое. А если ещё женитьба удачна, то и подавно. Как там у Пушкина: «...Кто в двадцать лет был франт иль хват, а в тридцать выгодно женат...» Вот об этом, о выгоде своей, и подумай.

– Да мне до тридцати ещё три года, – вяло парировал я.

– Лермонтов в двадцать семь уже погиб на дуэли, – отрубил мой патрон, закрывая за собою дверь кабинета.

Немного постояв и словно не решив, что делать дальше, я снова уселся на широкий прохладный подоконник единственного в коридоре нашего отдела высокого окна и стал неотрывно смотреть на тревожную, коричневатую, неспешно несущую свои воды Неву, тоже припомнив Пушкина.

«Над омрачённым Петроградом дышал октябрь осенним хладом...»

И действительно, чувствовалось, что на улице холодно, ветрено, сыро. И послеобеденное время скорее походило на ранние, отнюдь не октябрьские, а декабрьские сумерки. Отчего казалось, что больше обычного в этой фиолетовой «жиже» призывно, янтарным светом, блистали и манили к себе окна Эрмитажа, где я сегодня в Рыцарском зале в пять часов вечера должен был встретиться с аспиранткой Ленинградского государственного университета Еленой Тучкиной. С ней я был знаком уже около года.

Обычно именно там время от времени я назначал свидания своей очередной девушке (большинство из которых тоже были аспирантами из различных городов и республик необъятной «империи» СССР). Знакомился я с ними или в нашем институте на какой-нибудь научной конференции, или в аспирантском общежитии. Рыцарский зал Эрмитажа привлекал меня своей необычностью, поэтому я любил в нем назначать

встречи. Словно на машине времени ты переносился вдруг на несколько веков назад и оказывался среди рыцарских доспехов и мечей, с помощью которых бесстрашные воины прокладывали себе путь к славе. В этом просторном гулком зале почти всегда бывало тихо, немногочленно, торжественно. И в то же время как-то протяжно одиноко, даже если ты был здесь не один, а с очаровательной спутницей. И это одиночество внутри тебя навевало некую элегическую грусть, отчего хотелось говорить только «высоким штилем». А при взгляде на конного рыцаря мечталось ускакать куда-то далеко, в жаркие страны. Пусть даже в Палестину, ко гробу Господню, дабы совершив сей подвиг, уверенно просить руки дамы сердца...

Елена Тучкина, в отличие от иных моих знакомых, являлась коренной петербурженкой и жила где-то недалеко от нашего института, тоже на Васильевском острове. И, думая о ней, я почему-то вспомнил Бродского.

«Ни креста, ни погоста – не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать», – так, кажется, у него.

Елена самозабвенно любила свой город, считая подарком судьбы появление на свет именно здесь, среди гранита набережных, изысканных зданий Растрелли и других великолепных архитекторов. Она была художавая, подвижна, мила, остроумна и очень интеллигентна, но я её, как, впрочем, и других моих нечастых мимолётных подруг, увы, не любил. Мне бывало с нею хорошо, спокойно, порою даже очень хорошо, совсем не скучно. Но не более того, поэтому представить её рядом с собой на всю жизнь я не мог. Не исключено, что приблизительно также о наших отношениях думала и Лена. Хотя одна фраза при нашей предыдущей встрече в кафе, кажется, выдала её: «...и запомни, что из Питера уехать я ни при каких обстоятельствах не смогу, да и не хочу. Впрочем, и ты вроде бы тоже здесь собираешься осесть? Так что особых разногласий у нас, надеюсь, на этот счёт не будет». Возможно, это была лишь оговорка, а не просчёт ситуации наперёд, как увиделось мне. А может быть, просто тогда было выпито много вина?..

Несомненно, Елена была лучшей из всех моих тогдашних знакомых девушек, но и в ней чего-то для меня не доставало. Вернее, не для меня, а для такого сумбурного непредсказуемого чувства как любовь, когда теряешь голову и не стыдишься делать глупости. Голова моя была, к счастью, несчастьем ли, на месте, и делать прекрасные глупости я не спешил. А все эти предыдущие переборы с дамами, которые, как выяснилось, заметил даже мой шеф, в конечном счёте были не более чем экспериментом по выяснению совместимости двух абсолютно различных порою личностей.

Как правило, расставаться со своими знакомыми я старался без истерик и трагедий, если даже отношения наши заходили далеко...

К тому же, мне тогда казалось, а может быть, так оно и было на самом деле, что я уже был всерьёз влюблён в свою землячку, очаровательную девушку Маргариту Оленину. Ведь именно Олениной, правда, Анне Алексеевне, Пушкин в 1828 году посвятил чудесное стихотворение «Ты и Вы». Поэтому от одного только произнесения этой фамилии на меня, казалось, веяло нетленной патриархальностью славной старины, где предполагалась порядочность, и где «нравственность», если верить Неккеру, «была в природе вещей». А если ещё добавить, что Маргарита почти не умела грустить и была к тому ж непредсказуема, то очень приблизительный её портрет будет именно таков.

Я с нетерпением ждал от неё писем. И сам писал ей довольно часто. Гораздо чаще, чем она мне. Стараясь с юмором описывать моё житьё-бытьё здесь, в северной столице. И этот «почтовый роман» был моей сокровенной тайной – в неё никто не допускался. Хотя я чувствовал, вернее, понимал умом уже тогда, что вместе нам не быть, несмотря на то, что Маргарита отвечала мне взаимностью. Однако также легко она отвечала взаимностью, правда, до меня, и тем, о ком я знал, а возможно, и многим другим, о ком я не ведал. В народе это называется любвеобильностью. Действительно, угадывалась в ней какая-то предельность во всём. Словно она проживала всякий раз свой последний в жизни день. Ей постоянно недоставало веселья, карнавала, новых ощущений, чудес! Она всё время боялась чего-то не успеть. Наверное, девушку с такими задатками в полной мере мог бы устроить только волшебник, каковым я, увы, не являлся. И тем удивительнее было то, что из многочисленных своих поклонников она явно выделяла именно меня, порою даже в кругу знакомых, когда мы бывали вместе, нарочито подчёркивая это. Пожалуй, «безумно» было бы самым уместным словом в наших отношениях. Но, тем не менее, минуты с Ритой были самыми лучшими. И порою даже казалось, что мы составляем нечто единое, неразделимое, целое.

Надо отдать Маргарите должное – она всегда, при любых обстоятельствах, была со мной честна. И её горячие безудержные поцелуи, и слёзы раскаяния, когда она рефреном повторяла лишь: «Прости меня... Только теперь я поняла, что, кроме тебя, мне никто не нужен...» – всегда исходили, казалось, из самого сердца.

И я прощал её, потому что любил. Однако в глубине души всё-таки представлял семейную жизнь не как постоянно извергающийся вулкан, и не как бушующий океан, а как спокойную гавань, в которой можно укрыться от житейских бурь. И когда после двух месяцев пребывания в

родном городе я улетал в Ленинград, то испытывал по большей части некоторое облегчение. Ибо в таком накале, в котором жила моя подруга, я жить не мог. Порою мне казалось, что мы просто испепеляем друг друга. Рита всегда провожала меня до аэропорта и бывала в такие минуты тиха, молчалива, говорила негромким голосом и, не отпуская мою руку, просила только об одном: «Возвращайся как можно скорее. Я буду тебя ждать и стану с радостью зачеркивать в календаре каждый прожитый без тебя день. Ты же сможешь прилететь на Новый год, как в прошлый раз?..»

В такие минуты я понимал, что по темпераменту мы абсолютно разные люди. Я, например, не особо страстный человек. И мне нередко доставляло гораздо большее удовольствие, скажем, играть в футбол, чем «играть в любовь». Ибо в первом случае я испытывал чисто физическую, ничем незамутнённую радость, а во втором – к приятным ощущениям отчего-то добавлялись и угрызения совести, когда говоришь самому себе: «Не то я делаю, не то...» Ведь я, пусть даже ненароком, не давая никому никаких обещаний, всё-таки обманывал кого-то (и в первую очередь, может быть, самого себя) иллюзией любви. И мог ли я требовать верности от Риты, когда и сам порой бывал неверен ей? В своих рассуждениях я, в конце концов, запутывался и приходил к одному бесспорному выводу, что моим идеалом являются отнюдь не Ромео и Джульетта Шекспира с их безумной молодой и безудержной страстью, а старосветские помещики Николая Васильевича Гоголя с их размеренной неспешной жизнью. И в этом случае мне, конечно же, больше подходила Елена Тучкина – потомок славного рода мелкопоместных дворян. Однако меня, увы, как мотылька к огню, неудержимо тянуло к Маргарите – этой яркой, взбалмошной, всегда неожиданной девушке, прогуливаясь с которой я нередко ловил завистливые взгляды проходящих мимо мужчин на себе и восторженные – на ней.

В её последнем довольно сухом и почти лишённом присущих ей эмоций письме «о делах, заботах, учёбе в университете, погоде» в самом конце вдруг прорвались такие строки: «Я устала тебя всё время ждать. Я устала всё время быть без тебя. Я не знаю, что я могу без тебя натворить... Пожалуйста, скорее приезжай. Ведь я старею, меняюсь ежеминутно. И такой, какая я сегодня, уже никогда не смогу быть. Когда ты получишь это письмо, я стану старше, минимум, дня на три, а то и на неделю. А я не хочу проживать дни без тебя... До-свидания. Пока ещё твоя. Марго-Рита».

Именно так, через дефис иногда, перед принятием каких-то важных для неё решений, она писала своё имя. Выходило и Марго, как я иногда в шутку называл её, и Рита, словно это были два разных человека. Впрочем, все мы в себе нередко носим таких разных людей. Недаром

же Фёдор Михайлович Достоевский говорил: «Широк русский человек. Слишком даже широк. Я бы сузил».

Воспоминание о Маргарите, желание как можно скорее увидеть её больше всего сейчас занимало меня, сидящего с вытянутыми ногами, почти во всю длину подоконника, прохладу которого я ощущал, как холод безнадёжности. Даже выкрашенная, как и подоконник, белой краской стена в нише окна, о которую опирался спиной, казалась чуть теплее дерева.

Дело в том, что каникулы мои закончились чуть больше месяца назад, а следующие предполагались только будущим летом, да и то навряд ли. Ведь надо будет заниматься доведением до логического конца диссертации. А значит, уехать из Питера я, скорее всего, не смогу, поскольку нужен будет прямой и достаточно частый контакт с шефом.

И тут передо мной вставал простой, на первый взгляд вопрос, порождающий, в свою очередь, череду других вопросов: «А надо ли мне вообще защищать кандидатскую диссертацию? Надо ли мне заниматься наукой? Моё ли это дело? Хочу ли я служению ей посвятить всю свою жизнь?..» Утвердительных, уверенных ответов на все эти вопросы я не знал. Более того, смутно угадывал в себе иную потребность – мне всё чаще и всё больше хотелось заниматься литературным трудом, попытавшись перенести на бумагу всю неповторимую полноту жизни, присущую каждому человеку с живою душой.

Мои многочисленные наброски, сотканые из самых разнообразных эпизодов: таёжных, морских, а то и из необычных житейских ситуаций – всё это настойчиво просилось стать чем-то более самостоятельным, чем просто дневниковыми записями, которые я вёл, и которые теперь мне представлялись лишь пунктиром, вешками, штрихами, увы, не отражающими до конца всю полноту событий... Наверное, вот также опытный энтомолог «фиксирует», прищипливая булавкой к картону очередной редкий экземпляр бабочки с необычайно красивым узором на крыльях, превращая живое в неживое – в экспонат, в часть своей коллекции. Но этот экспонат не может объяснить, как жила бабочка, где она летала, какие любила цветы. Поэтому и мне виделась совсем иная задача, диаметрально противоположная: из мёртвого, вернее, уже минувшего, создать живое. И чистый лист бумаги манил, но и страшил меня. Ибо его белую девственную свежесть я должен был заполнить чёрными знаками, знаками судьбы, жизни. И ответственность за качество этой новой жизни, за новую сотворённую реальность будет впоследствии нести единственное существо в мире – автор. То есть я сам, поскольку в данном вопросе помочь никто не может. Помощи не докличешься ниоткуда. Ведь цель творчества

до конца неясна. Я стоял у Рубикона, но перейти его, как это в одночасье, несмотря на запрет римского сената, сделал Юлий Цезарь, не решался. И очень часто белый лист обычного формата, вещь совершенно безобидная, вызывал у меня неотвратимую боязнь, так и оставаясь «белым безмолвием». Порою даже более опасным, чем приполярная тундра где-нибудь на Таймыре. Где я бывал и где так явственно ощутимы беспомощность и одиночество любого человека. Особенно в предчувствии пурги. Когда с сосущей сердце тоской осознаёшь, что вся надежда теперь только на собак. На их выносливость и ум, на их врождённое чутьё, на их и свою волю к жизни... Они и согреют под снегом в случае чего и вывезут потом к становищу аборигенов, к их конусообразным ярангам из оленьих шкур, от которых сверху отделяется дымок, быстро тающий в низком сером небе.

Я понимал, конечно, что материализация порою весьма хаотичных мыслей, превращение их в литературный текст и есть самое сложное, сродни волшебству – из ничего создающему Нечто, и что без дара Божия здесь не обойтись. Но именно писать, создавать образы мне больше всего в глубине души и хотелось. Пусть даже постоянно ощущая неподатливость Слова – «сопротивление материала», порою более стойкого, чем гранит, противящийся скульптору в превращении глыбы в изящную статую. И, в конце концов, хотелось увидеть свои преобразованные мысли и чувства, ставшие художественным текстом.

Одним словом, я не был до конца уверен, что у меня в этом деле хоть что-то получится. И фактически изменением судьбы, в случае неудачи, готов был расплатиться за своё непростое решение.

«Ну что ж, попробую, рискну! Пока ещё не поздно. Пока ещё не засосала окончательно «трясина науки». Пока я ещё относительно молод. Пока ещё мое желание не перетёрлось в пыль, не стало трухой прошлогодней листвы. А вдруг да получится!.. Ведь, в конечном итоге, воплощённое в жизнь призвание и есть настоящее счастье. Ибо работа – это единственное, что тебе никогда не изменит. Тем более что жизнь так скоротечна. И не стоит её разменивать на мелкую монету, на пустяки».

На следующий день, прямо с утра, чтобы не передумать, я написал заявление с просьбой об отчислении меня из аспирантуры по собственному желанию. Весь день затем отражал «атаки» увещевающих меня, предлагавших не пороть горячку и закончить аспирантуру, доказывающих и аргументирующих свои доказательства, что я поступаю глупо. И что, если я не полный идиот, то должен заявление своё из канцелярии побыстрее, пока ему ещё не дали ход, забрать и забыть о нём, как о страшном сне...

Вечером, в половине седьмого, мы встретились с Еленой у театра.

Уже на дальних подступах к нему толпа любителей театрального действия, к которым я себя не причисляю, с горящими глазами «стреляла» у прохожих,двигающихся в направлении БДТ, лишние билетики. Несмотря на моё скептическое отношение к театру, к его какой-то, на мой взгляд, ненатуральности, спектакль действительно был хорош. Однако восторги Елены, перехлёстывающие прямо-таки через край, казались мне всё же чрезмерными. И чтобы не портить вечер ни ей, ни себе, я не стал говорить о принятом мною сегодняшним утром решении. Тем более что в конце недели я был зван на родительскую дачу Елены – «на закрытие сезона», «отжимки» с домашним вином из черноплодной рябины «производства отца» и «очень вкусными мамиными голубцами».

– Ты только торт какой-нибудь купи или цветок. Тогда ты им сто-процентно понравишься, – проговорила Лена, и я окончательно понял, что мне пора возвращаться домой, в Сибирь.

Смотрины в мои планы не входили. Я очень хорошо относился к Лене, тем более что человеком на самом деле она была славным, но всё-таки я не любил её. И это было главным.

В конце недели в аэропорту Пулково ожидая посадки в самолёт, я написал ей – не то короткое письмо, не то пространную записку. В которой извинился за невозможность, в связи со срочным отъездом, побывать у них на даче и познакомиться с её родителями, а также попытался объяснить свой нелогичный с точки зрения «здорового смысла» поступок с аспирантурой. В конце подсластив «пилюлю» фразой, в которую тогда почти что верил: «Лена, ты замечательный человек, и я тебя почти люблю. Но я тебя, поверь, не стою. До свидания, а может быть, прощай».

В родном городе я оказался никому не нужен. Вернее, не нужен я стал советской науке. А ещё точнее – родному институту, который направлял меня в аспирантуру и который ожидал меня лишь через три года остепенённым специалистом. Без учёной же степени мне могли предоставить только должность лаборанта или, в лучшем случае, инженера...

Почти полгода я промыкался в поисках работы по академическим учреждениям. Где-то сразу получал отказ: «Тема работы не по нашему профилю». Где-то – предложение, на которое я после двух лет аспирантуры в Питере так же, как и в родном институте, согласиться не мог – не позволяла гордость. «У нас вакантно место лаборанта», – обычно слышал я ответ в очередном отделе кадров. А на мой вопрос: «В чём заключаются его обязанности?» получал исчерпывающую информацию: «Пробирки мыть. Причём, очень тщательно. Оклад, конечно, небольшой – зато есть

перспектива роста...»

В свободное от хождения по институтам время, которого у меня теперь было предостаточно, я успел перечитать массу книг из домашней библиотеки и ясно понял, что никакого триумфального въезда на белом коне в литературу у меня в ближайшее время, по-видимому, не предвидится. Более того, может быть, это «ближайшее время» будет отодвинуто от сегодняшнего дня на многие-многие годы. Через шесть месяцев, почти постоянно ощущая свою незначительность и ненужность, испытывая угрызения совести по поводу того, что в двадцать семь лет (Лермонтов к этому времени уже на дуэли погиб, успев стать классиком русской литературы. Прав был мой шеф!) сижу на шее у родителей, я заработал язву двенадцатиперстной кишки и наконец-то понял, что работу мне надо искать в иных, ненаучных, а более грубых сферах. Это во-первых. И, во-вторых, не стоит постоянно поддаваться унынию. Жизнь, несмотря ни на что, всё-таки продолжается.

Стоит сказать, что родители не докучали мне своими советами и за безделье не корили, видимо, понимая, что с их сыном происходит что-то необычное, судьбоносное. Хотя, конечно же, вздыхали украдкой – я это замечал – от моей непутёвости, в глубине души наверняка жалея, что я бросил аспирантуру, где у меня всё складывалось так удачно. Да мне и самому теперь поступок мой казался странным, необъяснимым, лишённым смысла.

С Маргаритой, о которой я так часто думал перед возвращением домой, отношения стали какими-то постными, будто мы внезапно впали в летаргический сон и никак не можем проснуться, а встречи – редкими. Возможно, это происходило оттого, что я, казалось, навсегда утратил свой природный оптимизм и веру в неизбежную удачу. Мой внутренний стержень, так долго до того удерживающий независимую гордую осанку, теперь как будто бы слегка прогнулся, не выдержав тяжести неразрешённых житейских проблем, свалившихся на мои плечи.

Порою, особенно во время весёлой дружеской пирушки, мне начинало казаться, что я всё тот же, прежний. Что, вот ещё немного, и я смогу распутать этот гордиев узел. Но, заглядывая в глубину своего сердца, я видел там ужасающую разруху и чувствовал безмерную тоску. Я сознавал, что потерял себя, но как себя снова найти – не знал. Может быть, оттого, что перспективы впереди вырисовывались теперь весьма туманные, в отличие от чётких и прямых (как его проспекты), имеющих в Питере. И, самое главное, я начинал осознавать, что становлюсь неинтересным даже самому себе.

В конце концов, я устроился в СМУ «Водстрой» буровиком.

– Работа у нас не из лёгких. Особенно зимой. Но зато и заработки – будь здоров! – подбадривал меня мастер участка Судаков после прохождения всех формальностей, намереваясь отправить в недоукомплектованную бригаду, работающую на какой-то отдалённой кошаре в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе.

На этой забытой богом и пустующей зимой степной кошаре требовалось пробурить почти двухсотметровую скважину, чтобы добыть необходимое количество воды для стад овец, пасущихся там летом.

– Значит так, – продолжал инструктировать меня мастер, – до Олоя с автостанции доедешь рейсовым автобусом. А там километров пять-шесть в сторону Хазаргая, или на попутках, или пешком. Метрах в двухстах от дороги увидишь буровую вышку и синего цвета балок. Там твоя бригада и стоит. Бригадир – Мельник Михаил Сергеевич. Мужик основательный. Один из лучших в нашем управлении. По три скважины в месяц, если не сильно глубоких, даёт. Оттого и заработки у них высокие. Хотя, конечно, контингент разный бывает, – счёл нужным Судаков уведомить меня о наболевшем, – текучесть кадров на буровых страшная. Но ты, паря, не унывай, – вновь подбодрил он. – В бригаде Мельника ты за один месяц столько получишь, сколько за два года в своей аспирантуре не видал. Одевайся только потеплее. Вишь, февраль-то свирепый какой нынче выдался. Ватные штаны, телогрейку, валенки получил? – спросил он.

Критически осмотрел мою зимнюю куртку на синтепоне, в которой я «гарцевал» в Питере.

– Куртёшки там такие – на тараканьем меху – не спасут, – сделал он категорический вывод и, ещё раз оглядев меня, добавил: – Чё-то не нравится мне твой кислый вид. Давай-ка, вот что лучше сделаем. Через пару дней в эту бригаду пойдёт машина с соляжкой. Она тебя к месту и доставит. Ничего, вчетвером пока поработают – не впервой! – возвысил он голос. – А то мне тебя одного пока отпускать страшновато. Не дай бог околеешь ещё где, в степи. СМУ мне этого не простит. Из тебя, может быть, – криво улыбнулся он, – при твоей-то учёности, глядишь, в скором времени хороший мастер участка образуется. Подучишься на курсах буровых мастеров в Ростове и сам будешь бригадами командовать, – не веря самому себе, закончил мастер.

И, уходя уже куда-то по делам, добавил: – Значит, седьмого, через два дня, жду тебя в конторе к восьми утра.

Шофёр, с которым мы выехали в бригаду, был под стать погоде – сумрачен и неразговорчив. И только, когда мы миновали неприглядные

пригороды, он разжал зубы, спросив:

– Снизу не сильно дует?

– Всё нормально, – попробовал я быть оптимистом, чувствуя себя в ватных штанах и телогрейке неуклюже и как-то раздуто.

Шофёр мельком взглянул на меня и, видимо, не поверив моему мажорному тону, заговорил раздражённо.

– Сколько раз говорил я им – надо утеплить к зиме кабину! А, впрочем, как ни утешай – толку мало. Ездим на старье, которое давно пора менять! Не дай бог, где на трассе заглохнешь – пропадёшь. У нас, так вот, один в прошлом годе, тоже в феврале, тормознулся в степи... Пытался паяльной лампой в кабине греться, да, видно, заснул. Ну, вместе с машиной и сгорел.

Снова плотно сомкнув губы, он стал неотрывно смотреть на уходящую за дальние холмы дорогу, чёрный асфальт которой белыми языками вылизывала бегущая впереди машины быстрая позёмка.

– А ты чё всё молчишь? Рассказал бы чего интересенького, – не поворачивая головы в мою сторону, произнёс шофёр.

– В этот день, пятьдесят восемь лет назад, в Иркутске без суда и следствия большевики расстреляли адмирала Колчака. А тело сбросили в прорубь на Ангаре, недалеко от Знаменского монастыря, который мы часа полтора назад проехали, – озвучил я свои мысли.

Шофёр с любопытством взглянул на меня и, отвернувшись, опять замолчал.

В вагончике было жарко, а запах в нём стоял настолько специфический, что меня в первые минуты чуть не стошнило. Угадывалось, что настоян он был на какой-то слежавшейся, с прелью уже, материи, солярке, развешенных на проволоке около трубы отнюдь не первой свежести портянках и рабочей одежде, давно, по-видимому, скисшем супце, водочном перегаре, табачном дыме и ещё на чем-то таком, для чего в моём словарном багаже слов не находилось...

Представив, что именно здесь мне предстоит жить, я почувствовал слабость в ногах. И мне тут же захотелось осесть, прямо на грязный, давно неметённый пол, крепко обхватив голову руками – чтобы уже больше ничего не видеть и не слышать – и завять, как воют бабы навзрыд от безысходного горя.

– Вот, пополнение вам привёз, – указал водитель на меня, окаменело стоявшего у двери. – Принимайте солярку по-быстрому. Мне ещё надо в дальнюю бригаду успеть, да назад к вечеру в Иркутск вернуться.

В этот момент шофёр вдруг представился мне единственным спа-

сителем. И если бы он не ехал дальше, а сразу возвращался в город, я уговорил бы его взять меня с собой, не оставлять здесь. Мне казалось, я клещом готов был вцепиться в рукав его телогрейки и не выпускать его до самого города...

С какой-то нежностью я вспомнил широкую мраморную лестницу Зоологического института, ведущую наверх в наши кабинеты, и улыбающихся научных сотрудников в белых халатах, встречающихся на ней и приветливо здоровающихся с тобой. Увы, теперь всё это было для меня недостижимо...

«Для чего и на что я всё это променял?! Ради чего – фактически, изменив судьбу – решился на такой шаг?! Ведь не исключено, что я никогда не стану писателем. Ничего же путного пока ещё мной не написано. Так, лишь намётки, заготовки чего-то неясного, неопределённого даже для самого себя. Зарисовки предчувствий или «бред надежд», как я называл это нечто, просящееся на листы бумаги, а иногда и на случайные листки, когда воспоминания из глубин памяти настойчиво требовали выхода. Но ведь ни одного настоящего рассказа у меня ещё нет. Да, есть несколько удачных стихотворений, с десятков – не более. Однако удачными-то они представляются только мне да некоторым моим знакомым. Но ведь знакомые мои приятели в большинстве своём не литераторы. В лучшем случае – биологи... На что я надеялся? На свою непреклонную волю, которой в глубине души всегда так гордился? Так нет её уже, видно, этой непреклонной воли! Она могла произрастать, как выяснилось не так давно, только в тепличных условиях... Зачем я собственными руками, своим глупым бездумным поступком сломал собственную жизнь?!»

Я чувствовал, что близок к истерике. И все эти горькие, отрезвляющие мысли о реальном положении дел с невероятной быстротой пробежали передо мной, не оставляя теперь даже слабого лучика надежды на что-то хорошее там, впереди.

«Только не раскисать. Не размазываться зелёной соплей по стенке. Надо уметь держать удар. Надо переупрямить судьбу».

– Где бригадир? – вывел меня из ступора громкий, какой-то упругий голос шофёра.

– В город уехал – наряды сдавать за пробуренные скважины, – всё ещё сидя на верхней полке и беспечно болтая ногами, ответил верховой мужик, почти касаясь своей чёрной пяткой, видимой в дыре носка, лица сидящего ниже здоровяка, безучастно наблюдавшего за всем происходящим и время от времени всей пятернёй скребущего голову.

– А чё дрыхнете, не работаете? – уже как-то лениво спросил шофёр.

– Да, бригаду надо пополнить! Недокомплект, – зычным голосом вдруг встрял в разговор здоровяк, неспешно вставая со своего рундука и в одних трусах и майке подходя к печке, бок которой был раскалён докрасна. Поставив на неё железный закопчённый чайник, продолжил: – Один от нас сбёг. Трудностей испугался. (Как я тогда завидовал этому неизвестному!) Вот бригадир и отправился в управление, чтобы заодно ещё и человека два-три добыть. Нас с мастером оставил шурф копать, да забуриваться здесь на новом месте.

– Ты, значит, мастер? – уточнил шофёр у сидящего на своём «на-сесте» мужика.

– Ну, я, – нехотя ответил худощавый, неожиданно легко спрыгнув с верхней полки.

На его впалой костлявой груди с сероватой кожей, в глубоком вырезе, видимо, большой для него и далеко несвежей майки виднелись наколотые синеватые купола собора Василия Блаженного во всей их витиеватой красе. А на предплечьях, когда он подошёл поближе, я успел разобрать две «классические» надписи для людей, которые не разминулись с зоной: «Нет в жизни счастья» и «Не забуду мать родную».

Первую надпись я готов был сделать у себя немедленно, причём на самом видном месте, например, на лбу. Подобно тому, как каторжанам ставили на нём клеймо.

– Костя! – неожиданно игриво выбросил он в мою сторону жилистую, судя по всему, сильную руку, пальцы которой были все в наколотых перстнях.

От неожиданности я непроизвольно отступил на полшага назад.

– Да не бойсь ты, мы интеллигенцию не обижаем, правда? – весело улыбнувшись почерневшими зубами, подмигнул он напарнику, не опуская руку.

– Игорьь, – ответил я, придя в себя, и ощутил, как и предполагал, сильное и цепкое рукопожатие.

– Нам тут сорока на хвосте принесла – ты вроде как большим учёным был, – с задором ухмыльнулся мастер. – Небось, тяжелее авторучки давненько ничего не держал? Мы тебя тоже сильно напрягать не станем. Сёдня шурф начнём долбить. Тебе, как особо грамотному, доверим наиболее тонкие и точные приборы: кувалдометр и ломперметр. Ими будешь работать, – весело рассмеялся он, сверкнув золотой фиксой. А здоровяк, одевающийся у рундука, отчего-то нахмурился.

– Ну, ладно, хватит лясы точить, – вдруг устрожился шофёр. – Давай, кажи, мастер, куда соляру сливать. И парня без нужды не задирай, – добавил он.

– Ша, один момент, – мгновенно свернув улыбку, ответил Костя, возраст которого определить было сложно. Ему могло быть и тридцать, и пятьдесят. – Только вот парадный клифт надёрну, – продолжал скомоорошничать он теперь перед шофёром, набрасывая на плечи, прямо поверх майки, засаленную телогрейку и погружая ноги в просторные валенки, стоящие у печи.

– Меня Николаем Ивановичем кличут, – рокотнул от печки уже одетый здоровяк, снимая с неё закипевший чайник и на мгновение переводя взгляд на хлопнувшую дверь, за которой скрылись шофёр и мастер. – Чайку, супца горохового не желаешь? – раздвигая на столе грязную посуду и ставя на него чайник, спросил он добродушно.

– Спасибо, я не голоден, – соврал я. – Мне бы какую-нибудь работу.

Я полагал в тот миг, что лишь работа – изнурительная, до полного изнеможения и отупения; до истребления в себе почти всех желаний, кроме поесть и поспать, – способна заглушить во мне сосущую душу тоску по прошлой, утраченной, возможно, навсегда прекрасной жизни и отвращение к жизни нынешней.

– Наломаетесь ещё, успеешь, – рассудительно ответил Николай Иванович, которому, на первый взгляд, было не меньше пятидесяти. – Соляра теперь есть. После обеда начнём горбыль жечь – землю отогреть, а то она, как каменюга, твердющая. Аж звенит, когда ломом по ней вдарить. Сердится, должно быть, что спать ей до весны мешаем. А без соляры горбыль не горит ни в какую, сырой. А как земелька маленько оттаяет – шурф копать начнём. У нас процесс бурения с водой идёт. Вот и нужна для неё ямина. Два на два, да метра полтора в глубину, чтобы в неё водовозки три воды можно было вылить. Так что наработаешься ещё до отрыжки. Садись лучше, ешь, – снова предложил он. – А на мастера внимания не обращай. Он мужик, конечно, кручёный, но, в общем-то, не вредный.

Николай Иванович говорил степенно, и как-то угадывалось, что за его плечами стоит недюжинный житейский опыт.

– Давай, разболакайся да садись к столу, – снова попытался он подстегнуть меня к какому-либо действию, ставя на стол большую сковороду с жареной картошкой.

– Перекусить надо. Силы нам скоро понадобятся, – словно уговаривая самого себя, негромко произнёс он и, обернувшись ко мне, всё ещё стоящему у дверей, уже громче сказал: – Да, не журишь ты так, паря, жизнь ведь не кончается сегодня! А как говорили древние и очень мудрые китайцы: «Если ты не потерял жизнь – ты ничего не потерял». А заробей, загрусти – курица обидит! – улыбнувшись открытой улыбкой, закончил

он.

Снимая у вешалки возле входной двери телогрейку, ватные штаны и ощущая себя отчего-то в этом одеянии не то Чуком, не то Геком, собравшимся на Северный полюс, я вдруг почувствовал, что уже не так остро ощущаю запахи, вначале чуть было не отправившие меня в нокаут. «Да, быстро человек привыкает к плохому», – грустно подумал я. «Однако к хорошему он привыкает ещё быстрее», – припомнил я Питер.

На улице послышался шум отъезжающего бензовоза, и через мгновение в телогрейке нараспашку в балок с мороза пулей влетел Костя.

– Ну что, Иваныч, змеиный супчик готов? – довольно потирая руки, спросил он. – А где у нас вчерашние пирожки с гноем? – подмигнул он напарнику, спокойно хлебавшему какую-то баланду.

В этот момент я вновь почувствовал душливый спазм подступающей к горлу тошноты и понял, что ничего съесть уже не смогу.

– Никак нам плохо? – обернулся ко мне Костя, наливая себе в довольно чистую эмалированную чашку супец, преющий в кастрюле на кирпичах возле боковины раскалённой печки. – Ах, какие мы нежные, – заговорил он с издёвкой и неожиданно крепко хлопнул меня по плечу. Судя по всему, мастер был неисправимый весельчак.

– Ну, чего ты, Костя, к человеку вяжешься? Угомонись. Он в твоих бедах не виноват, – подал голос Николай Иваныч, споласкивая в тазу заляпанную алюминиевую кружку, чтобы налить себе чая. – Парень и так в непривычной для него обстановке. А тут ещё ты зудишь, задираешь его. Силы что ли некуда девать? Иди тогда вон землю долби без прогрева, шурф рой.

– Ничего, пусть привыкает. Знал чтобы, как трудовая копейка достаётся. Вот он у меня после обеда и пойдёт шурф долбить. Сразу небо с овчинку покажется, – не унимался Костя.

– Все будем рыть после оттайки грунта. По очереди, – вставил Николай Иванович.

– Вот и ройте вдвоём, «по очереди», – передразнил Костя. – А я – мастер. Моя задача – за технологическим процессом следить, чтобы он не нарушался. Я, если хотите знать, – он какое-то время подыскивал слова, – человек ненавязчивой идеи, вот! – веско закончил он.

– Ох, доизгаляешься ты над людьми, Костик, – снова рокотнул Николай Иванович от уже почти чисто прибранного стола, расположенного под сплошным, немаленьким, окошком. – Вот приедет Миша, он тебе перцу-то задаст!

Николай Иванович ушёл. Костя забрался к себе на верхотуру и за-
тих, а я начал генеральную уборку, для начала перемыв горячей водой из
большого чайника всю имеющуюся посуду.

Часа через полтора в вагончике стало даже как будто уютно.

Раза два, пока я прибирался, приходил погреться Николай Иваныч.
Одобрительно глядя на мои действия, он сел на табуретку возле д-
вери, не подходя к печке, стоявшей посередине вагончика, «чтобы не ма-
рать пол». От него пахло соляжкой, дымом и как будто бы пронзительным
февральским ветром. Не знаю почему, но мне это было приятно, точно
человек пришёл от таёжного костра.

– Вы теперь ещё тапочки заведите, – свесив голову со своей полки
и глядя на подметённый пол, миролюбиво проговорил Костя.

– И заведём, – улыбнувшись, ответил Николай и, обратившись ко
мне, сказал: – Закончишь здесь – можешь меня сменить...

Горбыль, облитый из ведра соляжкой, горел неохотно. Огонь, слов-
но слизывая языками пламени приятную ему солягу, скручивал доски,
будто отжимая из них влагу, которая, злобно шипя, поглощалась ленивым
костром. В грустное, серое, уже предвечернее небо поднимались тёмные,
беспросветные, как мои нынешние мысли, клубы дыма...

В конце концов, огонь одолевал воду и начинал резвиться веселее,
а подложенные в костёр новые доски занимались быстрее. Отчего-то эти
наблюдения – победа упрямой стихии огня над холодной, всё заморажи-
вающей стихией воды – вселили надежду и в меня. «Ничего, всё перетрёт-
ся, перемелется, переплавится... Не всё ещё потеряно... – размышлял я,
глядя на завораживающий весёлый огонь огромного, будто в пионерском
лагере в конце лета, когда всем грустно расставаться и друг с другом, и с
кончающимся летом, костра. – Из всего этого всё равно выкуется, вызреет
что-то хорошее, цельное...»

Вырыв что-то вроде неглубокого, но весьма объёмного «корыта», с
чёрными от сажи лицами, уставшие, мы снова заложили в это углубление
горбыль, облили его соляжкой и подожгли.

– Всю ночь придётся жечь, – неровно дыша, проговорил Николай
Иваныч. – Гляди, как земля нынче промёрзла. Прямо какой-то непроби-
ваемый панцирь на себя надела. Ничё, завтра полегше пойдёт, – успокоил
он меня. – Нам, главное дело, самый верхний, промёрзший слой убрать...

Сняв верхонку, он стёр с лица капли пота, катящегося из-под шап-
ки, чем ещё больше размазал по лицу сажу.

«Я, конечно, тоже выгляжу не лучше, – подумал я про себя. – Ви-

дели бы меня сейчас знакомые аспирантки. Наверняка бы не узнали. Или сделали вид, что не знают».

– Ладно, пойдём ужинать. Костя кашку обещал сварганить, – вывел меня из раздумий голос Николая Ивановича.

Всё тело у меня гудело, как высоковольтные провода на ветру. Звенело комариным гудом отчего-то и в голове. И сейчас я готов был съесть глубокую чашку даже и «змеиного супчика».

«Стремительно деградируешь, Ветров, – мысленно пожурил я себя и, едва переставляя ноги в ставших вдруг такими тяжелыми валенках с калошами, потащился к вагончику, на стене которого в отсветах пляшущего за моей спиной огня проявилась огромная, неуклюжая, такая непохожая на меня прежнего, тень. – А, может быть, это уже не только моя тень, но и моя сущность?» – невесело подумал я, припомнив снова Питер и знакомых аспиранток, и начинающих актрис, с которыми меня знакомила Елена, заядлая театралка, завсегдатай премьер, особенно в любимом ею БДТ. Но даже заплакать в этот миг от осознания того, что что-то очень светлое и теперь такое нереально далёкое, может быть, навсегда утрачено, сил у меня уже не было.

В бригаде Мельника – очень хорошей, кстати, бригаде, костяк которой был постоянным, – я проработал чуть меньше года обычным буровиком. То есть человеком, выполняющим все подручные – самые трудные и грязные – работы. И за это время, действительно, «особо точные приборы – ломперметр и кувалдометр», лом и кувалда стали моими привычными инструментами.

Обычно (и это, в первую очередь, благодаря бригадиру – спокойному, отлично знающему своё дело человеку) мы успевали пробурить две-три не очень глубокие, метров по пятьдесят-семьдесят, скважины в месяц. И заработки у нас поэтому были одними из самых высоких в управлении. Но всё это, в том числе и появившийся не без помощи родителей автомобиль, как-то не очень радовало меня. Мне всё время казалось, что я утратил что-то гораздо большее, чем обрёл. Да и друзья мои, как будто они были теперь из какой-то полузабытой, прошлой, давней жизни, – я чувствовал это, – всё больше отдалялись от меня. А может быть, я – от них. Что в принципе одно и то же. Скорее всего, это происходило оттого, что общих интересов у нас оставалось всё меньше. Ведь так различна теперь была наша жизнь. К тому же я бывал в постоянных разъездах, колеся по необъятно нашей области, на территории которой спокойно могли уместиться несколько европейских, причём немаленьких, государств. И

перемещаться по этим «государствам», в большинстве своём неказистым, со всем бутором, буровой установкой, вагончиком, водовозкой, да и работать тоже, приятнее всего было всё же летом, чем зимой, когда морозяка, кажется, готов достать тебя повсюду. А если ещё скважина бурится в лютые морозы не в какой-нибудь деревеньке, а в степи, на кошаре, да работа идёт в две смены: и днём, и ночью, то и подавно загрустишь, пригорюнишься, затоскуешь о неудавшейся своей судьбе. И никакие деньги тут твою печаль заглушить не могут.

Промозглой серой осенью, когда нудный, сеющий всё время дождик нередко пробрасывает быстрым колючим снегом, бурили в маленьком бурятском улусе Зум-Булуг, в котором, тем не менее, были почта и хороший книжный магазин, где я покупал редкие книги и с удовольствием потом читал их всякую свободную минуту. Скважина по проектной документации была в этом месте глубокая. Больше двухсот метров. Порода – тоже непростые, поэтому быстрого завершения работ не ожидалось. Минимум – полмесяца, а то и дольше провозимся. Да еще бригадир, как на грех, застрял в управлении с отчётом за третий квартал. А без него многие вопросы не решались. А если и решались, то не так быстро, как хотелось бы, как было при нём.

А тут ещё, как назло, «сдох» дизель буровой, и мастер решил отправиться в управление за запчастями. Но, скорее всего, по моим размышлениям, за бригадиром, при котором работы отчего-то всегда шли более спокойно и ритмично.

– Из улуса – никуда! – напутствовал он нас перед отъездом, обращаясь в основном к Николаю Ивановичу, как к самому опытному и старшему по возрасту. – Я на водовозке, с Серёгой, стогняю махом туда и обратно. Через день, крайний срок – через два, вернусь. Привезу новые долотья с алмазами и запчасти для дизеля. Может, и Миша уже будет свободен. Вместе тогда прикатим. Хотя и при нём мы, я чувствую, весь октябрь здесь проторчим...

Я был рад вынужденному безделью, поскольку мог вволю читать, трижды в день только прогуливаясь в малюсенькую деревенскую столовую с четырьмя столами на шестнадцать посадочных мест, где нас кормили по распоряжению директора совхоза очень хорошо и, в основном, вкуснейшими, сочными бурятскими позами. Иногда, лёжа на заправленной серым суконным одеялом постели, я прерывал чтение и смотрел в окно: на жёлтый простор степи, на мелко сеющий дождь, шуршащий за стенами дома, стоящего на краю улуса. Слушал мерное гудение печи от

сгорающих в ней сухих поленьев, заготовленных бывшими хозяевами этого добротного жилья, в поисках лучшей доли покинувших сии пустынные и бедные края. Оставив в доме почти всё, как было при них: кровати, шифоньер, стол, стулья, табуретки и даже старинный комод с пустыми выдвигаемыми ящиками.

Я попеременно читал две новые книжки: «Подорожник» Николая Рубцова и «Во сне ты горько плакал» Юрия Казакова. И был в восторге от них. От грустной искренности стихов Рубцова и от изысканно прозрачной, проникновенной прозы Казакова. После чтения я какое-то время пребывал в состоянии некой элегической, светлой печали. В глубине души, мечтая об искренней, чистой любви и о том, что, может быть, и мне когда-нибудь удастся написать о пережитом также хорошо.

– Игорь, к тебе, – показался в дверном проёме, почти полностью заслонив его, Николай Иванович, загадочно чему-то улыбающийся.

– Кто? – не без усилия возвращаясь к действительности от приятных мечтаний, спросил я, положив книгу на подоконник над кроватью, вставая с постели.

– Девушка, – ещё шире заулыбался Николай Иванович, уловив моё недоумение и пропуская в комнату местную почтальоншу – очень молоденькую девушку.

– Ветров? – для порядка осведомилась она, желая придать себе, при малом росте и тщедушности телосложения, больше значимости.

– Да.

– Вам телеграмма. Распишитесь, вот здесь – в получении.

– Разве у вас на почте есть телеграф, милая фея? – изумился я, заметив, что своим комплиментом окончательно смутил бедную девушку, которой на вид было лет шестнадцать, не более.

– Нет, – серьёзно пояснила она. – Нам их из райцентра привозят, с молоковозом, который от нас каждый день молочную продукцию забирает. Вот, возьмите, – протянула она свёрнутый вдвое серый листок бумаги.

Телеграмма была следующего содержания: «Ветрову И.В. срочно явиться управление. Задумов».

Задумов был начальником нашего СМУ «Водстрой».

«И чего я ему понадобился, да ещё срочно?» – размышлял я, добираясь на попутных машинах до города и прибыв в управление только к концу рабочего дня.

В кабинете начальника застал и нашего бригадира.

– Молодец! Оперативно отреагировал на телеграмму, – похвалил начальник. – Проходи, садись, – царственным жестом указал он на два

ряда стульев, стоящих вдоль длинного стола, торцом примыкающего к его обширному рабочему столу.

– Мы тут с Михаилом Сергеевичем как раз обсуждаем, кем тебя в бригаде заменить... Ты парень грамотный, с высшим образованием. Весь буровой процесс, по словам бригадира, освоил. Одним словом, расти тебе надо, Сергей.

– Игорь, – поправил я.

– Так вот, – кажется, совсем не обратив внимания на мою поправку, продолжил Задумов: – Решили мы отправить тебя подучиться по нашей специальности. Поедешь в город Батайск. Это рядом с Ростовом-на-Дону, только на левом берегу реки. Пройдёшь там необходимый полугодовой курс, сдашь, как положено, квалификационные экзамены, получишь, если всё будет хорошо, – каким-то своим мыслям улыбнулся он, – удостоверение мастера. Расти тебе надо, – повторился он и на мгновение задумался, прервав торжественный ход своей речи, – в смысле карьерного строительства, – закончил он свой блистательный монолог.

И совсем уже радостно, поражаясь, по-видимому, собственному благодушию, добавил:

– А там, глядишь, из обычных мастеров станешь бригадиром или мастером участка. А со временем, – веско подытожил он, хмелея от собственной дерзости и великодушия, – может быть, и меня на посту сменишь.

И, явно не веря своим словам, весело, но скромно хохотнул.

– Короче, Юрий (я не стал его вторично поправлять), к пятнадцатому октября ты должен быть в Батайске. Иди в бухгалтерию – там тебе выпишут необходимые документы. В кассе получишь расчёт, аванс и – вперёд, к своему индивидуальному светлому будущему. Мастер участка расскажет, что к чему, как и куда. Ну вот, один вопрос порешали, – удовлетворённо потёр он руки и, повернувшись к Мельнику, заговорил уже с ним, не дав нам с бригадиром перекинуться и парой фраз.

В своём кабинетике под лестницей, ведущей на второй этаж управления, где обычно толклись бригадиры Усть-Ордынского участка, Судakov оказался один.

– Значит, покидаешь нас, – приветствовал он меня, приподнимаясь из-за стола и указывая на стул, стоящий напротив. – Читал я давеча приказ, читал. Ну что ж, всё правильно, расти тебе надо, Игорёк. Чё на одном месте-то топтаться.

«И чего они все заладили: «Расти тебе надо», будто я лилипут какой-то», – отчего-то раздражённо подумал я, усаживаясь на стул.

В числе прочего мастер участка поведал, что со всего управления

на учёбу направляют только меня одного. Что там, где мне предстоит учиться, централизованно готовят буровых мастеров со всей страны. И что по окончании необходимого курса я, скорее всего, буду переведён на Тулунский участок, так сказать, для кадрового его укрепления. Ибо там, невесело заметил Судаков, «полный разброд и шатание».

– Вернёшься из Батайска, мастером участка у тебя Галемба Василий Исаевич будет. Он тамошний, тулунский. В управлении поэтому редко бывает, далеко... Ну, прощевай, что ли, – протянул он мне свою сухую мозолистую руку.

– Лучше до свидания, – проговорил я в ответ на его крепкое рукопожатие.

– Как скажешь – пусть так и будет, – он встал и проводил меня до двери кабинета.

И вот, вновь осенью, правда, не сырой и серой, как моя последняя осень в Питере два года назад. А сухой, солнечной, прозрачной, во всём своём великолепном разноцветье – одним словом, такой, какой она ещё нередко бывает в наших неюжных широтах в сентябре, – я должен был уже в который раз после окончания полугодовых курсов в Батайске отправляться за четыреста километров в Тулун.

Стационар наш состоял из голубого вагончика на восемь спальных мест – по четыре, в два яруса, с двух его сторон, с крохотной кухонькой посередине, разделяющей «спальные отделения». Умывальник и удобства, естественно, на улице. Довольно обширный, заросший бурьяном пустырь, на котором располагался вагончик, как и усадьба Галембы, был обнесён сплошным забором, только из горбыля. Судя по всему, у Василия Исаевича была страсть к высоким «непроходимым» заборам. В одном месте этого сооружения, правда, можно было, отодвинув доску, держащуюся на единственном верхнем гвозде, выйти к заболоченному лугу у небольшой, неспешно журчащей, плавной речушки, за которой открывался прекрасный раздольный вид с далёкими предгорьями, теряющимися в неясной дымке.

Я почистил и нажарил целую сковороду картошки, обнаруженной в ведре на полу кухни. Открыл банку сайры, купленную днём. Разрезал кружочками луковицу, также найденную в ведре с картошкой. Заварил покрепче чай и, сидя на чистом, с прогретыми за день досками, крыльце, с удовольствием поел, с грустью глядя на вечернюю зарю, малиновым цветом сгорающую там, вдалеке, за речкой, у неведомых мне таинствен-

ных предгорий, припомнив Есенинское: «О, верю, верю – счастье есть! Ещё и солнце не погасло. Заря, молитвенником красным, пророчит нам благою весть»... «Да, вся разница здесь только в том, что Есенин видел зарю, то есть начало чего-то. А я вижу закат...» – посетила меня не очень-то весёлая мысль.

Размышляя, куда бы направить свои стопы, я решил направить их в редакцию местной газеты «Сибирский уголёк».

Я вошёл в полутёмный длинный коридор редакции, освещённый одиноко висящей на проводе под потолком тусклой лампой и единственным окном в торце этой половины дома. Если привыкнуть к полумраку, то можно было разглядеть немногочисленные двери кабинетов сотрудников сего печатного органа, призванного быть рупором и недрёмным оком городской администрации и управления угольного разреза, находящегося недалеко за городом.

Последовательно прочитав на всех четырёх дверях таблички, разъясняющие, кто есть кто, решил зайти в «Корреспондентскую».

Ею оказалась просторная светлая комната, в которой ощущался настрой кипучей деятельности вкупе с рабочим беспорядком. Бумаги лежали не только на столах, но и возле них. Отдельные листы бесхозно валялись на полу. Остывший стакан недопитого чая покоился на чьей-то рукописи... Над каждым из четырёх располагавшихся в этом помещении столов висел какой-нибудь шуточный лозунг или рисунок. И всё это как-то сразу настраивало на мажорный лад! Казалось, что журналистам, работающим здесь, нравится их дело, и занимаются они им с удовольствием! И мне вдруг, оттого что я тут ощутил, стало так завидно и тоскливо одновременно, что я невольно громко вздохнул, обратив на себя внимание единственного находящегося в комнате человека, с трудом оторвавшегося от листа с текстом, который он читал, держа в вытянутых руках.

– Вам кого? – спросил он глухим голосом. И чувствовалось, что весь он ещё там, в том, о чём только что прочел. Очки у него съехали на кончик курносого носа. Был он сухощав, с вьющимися тёмными волосами, смуглой кожей и бурятской раскосинкой глаз. На вид ему было лет тридцать. Указав на мою чёрную папку под мышкой, в которой я обычно хранил наряды, а на сей раз несколько рукописных и отпечатанных дома на машинке стихотворений, добавил: – Материал принесли?

– Не знаю, – немного растерявшись отчего-то, ответил я.

– Ну, что у вас? Очерк, зарисовка, репортаж?

– Да я стихи хотел показать...

– Это не ко мне. Вам надо отдать их ответсекретарю. От входа по-

следняя дверь налево. Она у нас определяет, что, куда и когда ставить. Удачи вам, ибо тётка она вредная.

Он вновь склонился над столом и бегло застучал по клавишам допотопной пишущей машинки, то и дело передвигая скрипучую каретку с отпечатанной на стандартном листе бумаги новой строкой. Возможно, будущего фельетона или передовицы, которую надо срочно ставить на первую полосу сдающегося номера.

Выйдя из корреспондентской, я направился в кабинет с табличкой «Ответственный секретарь Занудина Ольга Петровна».

В крохотной комнатке, где едва помещался большой двухтумбовый письменный стол, покрытый сверху зелёным сукном, заляпанным во многих местах тушью и чернилами, лицом к двери за ним сидела грузная дама в очках, с дымящейся в углу ярко окрашенных губ папиросой.

– Вы ко мне? – спросила она резко, оторвав взгляд от текста, который, по-видимому, правила, на очень небольшом свободном пространстве стола, отвоёванном у множества папок, громоздящихся на его поверхности.

– Да, – стараясь говорить непринуждённо, ответил я.

– Давайте, – протянула она руку, одновременно пыхнув в мою сторону дымом.

– Что?

– Ну, материал, как я понимаю, – нетерпеливо проговорила она.

– У меня стихи.

– Давайте, – снова проговорила она, но уже не так нетерпеливо и вновь протянула руку.

Я заметил, что ногти у неё на пальцах были подстрижены неровно, но, так же, как и губы, ярко окрашены в красный цвет. Я достал из папки несколько листов и протянул даме.

– Всё?! – вновь пыхнула она папиросой, с неким интересом разглядывая меня. – А где же поэмы, баллады, романы в стихах?

– У меня есть ещё несколько, только они не отпечатаны.

– Давайте всё. Из большего всегда проще выбрать. Да, адрес или телефон оставьте, чтобы, в случае чего, с вами связаться и знать, куда выслать гонорар, если что-то появится в нашей газете. Ветров – это псевдоним? – взглянув на отпечатанный листок, спросила она.

– Нет, – ответил я, на весу дописывая на одном из листов, положенном на свою папку, домашний адрес. Покончив с этим, я передал все листки, которых набралось, наверное, не больше десятка.

Ольга Петровна открыла одну из пухлых папок, от крышки которой, когда её потревожили, отделилось серое облачко пыли. Бегло напи-

сав сверху в углу на первом листке: «Игорь Ветров, г. Ангарск», она закрепила их скрепкой и положила сверху. Завязать тесёмки папки из-за её перегруженности материалами даме не удалось, и она в прямом смысле слова махнула на это рукой, одновременно разгоняя «пыль веков», вновь поднявшемуся над столом.

«Прямо-таки братская могила какая-то», – подумал я о папке, почувствовав вдруг всю безнадёгу моего предприятия.

«Да, явно не заладился у меня сегодня денёк», – подытожил я с лёгкой грустью, но уже без отчаянья.

– Вы из другого города, где очень много различных газет, к нам-то вас какие ветры занесли? – погасив в переполненной пепельнице папиросу, спросила Ольга Петровна, видимо, решив устроить себе небольшой перерыв.

Я объяснил, что являюсь буровым мастером в одной из бригад Тулунского района, и что мы бурим скважины на воду везде, где в этом есть необходимость.

– Интересно, – хмыкнула она и, закурив новую папиросу, достала из папки мои стихи. Вставив под скрепку небольшой листок, она что-то написала на нём и положила мою стопку уже в другую, тоненькую и совсем непыльную папку. По-видимому, ею она пользовалась гораздо чаще, чем предыдущей.

– А стихи пишете давно?

– Рифмую лет с четырнадцати, а собственно стихи пишу лет с двадцати.

– Понимаете, значит, разницу между рифмоплётством и стихами?

– Кажется, понимаю.

– Ну-ну... – неопределённо проговорила Ольга Петровна, и взгляд её сделался задумчивым и томным, как будто она вспомнила о чём-то очень давнем, хорошем, дорогом для неё, но, увы, навсегда утраченном. – Да вы присаживайтесь, – спохватилась она. – Вон с того стула в углу папки на пол уберите и садитесь.

– А кто из поэтов в любимчиках ходит? – спросила она, когда я уселся на единственный, кроме её кресла, стул в этой крохотной комнатке. – Блок, Пушкин, Есенин?

– Лермонтов – если говорить о самом любимом.

Ольга Петровна о чём-то вновь задумалась. По-видимому, она что-то ещё хотела сказать, но, уронив взгляд на лежащие перед ней листы с текстом, вздохнула и спросила только: – У вас что-нибудь ещё?

– Нет, – как учёный попугай, выучивший одно лишь слово, опять ответил я.

– Тогда – довидзена, как говорят мои дальние предки, поляки. То есть до свидания, друг мой. Труба зовёт! Срочно, впрочем, как всегда, материал надо на первую полосу сдавать, а он до конца ещё не готов, – пояснила она, с тоскою глядя на лежащие перед нею бумаги.

– До свидания, – ответил я и, сделав пару шагов, закрыл дверь уже за собой.

Возвращаться на стационар не хотелось, и я отправился на почту, решив вдруг написать письмо Елене Тучкиной в туманный Петербург «из одного провинциального города...» Письмо, как мне представлялось, должно было быть написано в духе записей из «журнала» Григория Александровича Печорина: «И вот, теперь здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ждали тихие радости и спокойствие душевное?..»

Я люблю маленькие провинциальные почтовые отделения. Мне всегда так уютно и спокойно в них, среди этой сонной тишины, неспешного размеренного хода жизни, когда никуда не спешишь и когда можно, примостившись где-нибудь в укромном уголке, написать письмо другу, или любимой девушке, или домой. А может быть, даже – о чудо! – и получить откуда-то весточку в небольшом овальном оконце: «До востребования», почти не веря в это, не ожидая этой нечаянной радости.

Я пробыл на почте минут сорок. И, отправив письмо, часа два ещё потом просидел на берегу реки, наслаждаясь журчанием воды и ласковым послеобеденным прощальным солнцем, согревающим этот уходящий осенний светлый день. Время от времени с близкого к реке автовокзала из громкоговорителя доносились объявления об отправлении местных и междугородных автобусов... И мне вдруг так нестерпимо захотелось ехать куда-нибудь далеко-далеко... А может быть, услышать объявление: «Граждане пассажиры, через пять минут отправляется автобус по маршруту: «Тулун – Санкт-Петербург», просим отъезжающих занять свои места». И как было бы здорово, если бы в нём нашлось местечко для меня, да ещё у окошка... И ехать бы и ехать по этому маршруту, все те тысячи километров, разделяющие эти города, ни о чём не думая... Вернее, не думая ни о чём плохом. То есть о нынешней моей жизни.

У воды стало прохладно, и я, поднявшись от реки, непроизвольно подошёл к ДК, где на 18.30 должен был демонстрироваться фильм, снятый недавним выпускник ВГИКа югославом Владимиром Павловичем.

Прочитав на цветной афише в фойе, где было и окошечко кассы, краткую аннотацию к картине с названием «Школьный вальс», я купил билет и вошёл в зал. Однако лучше было бы мне этот фильм в тот день

не смотреть. Он был пронзительно грустный. Играли в нём прекрасные молодые и ещё малоизвестные тогда широкой публике актёры. С некоторыми я был знаком, там, в Петербурге, а кажется как будто бы в другой, такой далёкой жизни, когда уже почти не верится, что это была твоя жизнь...

Сюжет картины был о том, как рассыпаются порою в прах наши дерзкие юношеские мечты. И предстоящая жизнь, видевшаяся чудесной сказкой, превращается в серенькие, скучные будни, когда не спасает даже любовь... И когда любимчики Судьбы, «зацелованные» ею, кажется, с самого раннего детства, вдруг «ломаются» от первых соприкосновений с примитивными житейскими трудностями, теряя себя и своё лицо. А те, кто ничем, кроме своей непреклонной, никому невидимой до поры до времени воли не выделялся, становятся хозяевами жизни.

«Как точно о подобном сказано у Гоголя: «Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом...»

Я шёл по слабоосвещённым редкими фонарями улицам на стационар совершенно один, стараясь шагать как можно медленнее. И мне, в вечерний этот час, было также тоскливо и одиноко, как некоторым героям только что просмотренной картины. Вдруг с невероятной ясностью осознавшим: «Что наши лучшие желанья, что наши свежие мечтанья истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой».

Да, действительно, «несносно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она...», – повторял я пушкинские строки, будто нарочно растравляя свою рану, словно ставя жирный крест на моей неудавшейся жизни. Хотя где-то там, в глубине души, противился этому «окончательному диагнозу»: «Неудавшаяся жизнь». Настойчиво вгоняя в своё, разъедающее мою волю настроение, как вгоняют клин в чурку, не желающую раскалываться, иные мысли. «Нет, ничего ещё окончательно не потеряно. У меня ещё есть время и воля. Я сумею переупрямить Судьбу...»

Именно с этим настроением (переупрямить Судьбу во что бы то ни стало) я и отправился на следующий день вместе с бригадой и бригадиром на буровую.

Через неделю мы закончили бурить одну неглубокую, в семьдесят метров, скважину на ферме и перебрались на новое место к пруду на окраине села. После навозных куч с их специфическим запахом, среди

которых стояла наша буровая все эти дни, место у пруда с высокой искусственной дамбой, ровно заросшей травой, показалось нам просто идиллическим. Вообще же в Решётах, а именно так называлась эта аккуратненькая деревенька, мы должны были пробурить ещё две скважины. Что по времени (в зависимости от грунтов) на все скважины могло составить недели три, а то и более.

Устанавливая буровую, мы наслаждались не только чудесным окрестным видом с плавающими в пруду гусями и небольшим тёмным ельником на другом берегу, но и чистым, влажноватым воздухом.

Уже под вечер, когда все работы по установке буровой и её устройству были закончены, а дежурный приступил к готовке ужина, я примостился на дамбе отдохнуть. А заодно и полюбоваться окрестным видом. Вода в большом пруду отливала красноватыми отблесками и казалась масляничной и тяжёлой. И по этой «плотной» воде, как по льду, неспешно скользили похожие на небольшие сугробы гуси, то и дело погружая в воду недалеко от берега свои небольшие головы на гибких сильных шеях.

На красных лапках гусь тяжёлый,
Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лёд,
Скользит и падает; весёлый
Мелькает, вьётся первый снег,
Звездами падает на брег...

Припомнилось мне из «Евгения Онегина», словно и сам я находился сейчас не на буровой, а в родовом имении. И ещё мне подумалось, как должно быть хорошо на этом пруду зимой ребятам. И снова припомнился Пушкин: «Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лёд».

Погружённый в свои мысли я и не заметил, как ко мне подошёл бригадир.

– Чего харчиться не идёшь? Святым духом сыт, что ли? – грубовато спросил он.

– Иду, – неохотно отозвался я, поднимаясь с ещё не пожухшей до конца травы.

– Я на день-два в Тулун отлучусь. Наряды Галембе сдам, чтоб в управлении успели нам в расчет этого месяца включить пробуренные метры, – продолжил он. – А вы тут пока обустроивайтесь и, если что, (это – «если что» мне совсем не понравилось, да и то, что не я, а мастер участка повезёт наряды в Иркутск – тоже), забуривайтесь без меня. Ты уже спо-

койно можешь работать самостоятельно, – подбодрил он. – Да и грунты тут повсюду несложные. До конца месяца нам надо все три скважины здесь в Решётах пробурить...

Бригадир не оправдал моих опасений о том, что скважину нам придётся бурить без него. Он вернулся уже на второй день, под вечер. До его приезда мы, правда, уже успели забуриться и пройти почти полторы штанги.

– Молодцы! – крикнул он, подойдя к буровой. – Глуши мотор! – стараясь перекрыть шум ротора, закричал он уже мне, с ног до головы заляпанному красноватой глиной.

– Айда в балок. На сегодня хватит, – проговорил он, уже не напрягая голоса, когда шум двигателя стих. – Я рыбки хорошей привёз, пивка. Отдохнём маленько.

Бригада оживлённо приводила себя в порядок. Пофыркивая, умылись на вольном воздухе, поливая на руки друг другу воду, расчёсывали мокрые волосы, переодевались в чистое.

Для полноты ощущений вынесли небольшой раскладной стол на дамбу – благо, что вечер был по-летнему тёплым – и уселись вокруг него на табуретках.

Бригадир с видом факира извлёк из своего необъятного портфеля нечто, завёрнутое в промасленную газету. Развернув её, он выложил на стол большую копчёную красную рыбину в золотистой корочке.

– Режь, – обратился он к Кириллу, сидящему рядом с ним, – да нормальными, не сиротскими кусками. Ещё одна есть.

Вновь нагнувшись к своему портфелю, он извлёк несколько бутылок пива.

– А кроме пива у тебя там ничего покрепше не затерялось? – с лувавинкой спросил Иннокентий.

– Нет, мужики, – отрезал бригадир. – Разгоняться нам не можно. Работать надо. Да и Галемба мне передал, что жаловался ему на нас сбёгший из бригады Карандин. Пьянь, говорит, там одна. Работать по-настоящему не с кем... Так что по пивку и – баиньки. Завтра чуть свет бурить начнём.

Чтобы газету, брошенную у стола, низовым ветерком не отнесло в пруд, я нагнулся и прижал её к земле камешком. «Сожжём потом, чтобы не мусорить», – решил я и уже произвольно нагнулся второй раз. Ибо за что-то в ней мой взгляд зацепился.

Подняв газету, аккуратно расправил на краешке стола увиденную

рассеянным взглядом последнюю «Литературную страницу» (за этот крупный шрифт и зацепился мой взгляд), обнаружив на ней стройные столбцы стихов, помещённых в этом субботнем номере за 17 сентября. То есть всего два дня назад. Стихи были мои!

– Чё, буквы знакомые ищешь, мастер? – гоготнул Иннокентий, заканчивая резать чёрный хлеб.

Я промолчал, поскольку «шутка» эта произносилась всякий раз, когда я в свободное время, например, читал книгу.

– Улыбаешься, словно в лотерею выиграл миллион? – поинтересовался уже бригадир, разливая пенящееся пиво по эмалированным кружкам.

– Больше, гораздо больше, – ответил я не в силах скрыть счастливую улыбку. А про себя подумал: «Я выиграл изменение судьбы».

Это была моя первая, да ещё такая большая – больше десяти стихотворений – публикация в небольшой четырёхстраничной газете одного маленького провинциального городка. Но я уже тогда поверил, почувствовал, что далеко не последняя. Что будут публикации и в областных, и в столичных журналах. И не только стихов, но и прозы.

Опубликованные стихи были большей частью о любви, порою придуманной, воображаемой, такой, как, например, в стихотворении почти двухгодичной давности, написанном в бурятском улусе, откуда меня вызвали в управление.

Я ждал письма в улусе Зум-Булуг...

Оно не шло, не шло, и вдруг

Приходит телеграмма:

«Скорее приезжай. Я жду.

Не только я. И – мама».

А утром я проснулся и узнал,

Что телеграфа нет на почте маленькой.

И сор сгоняя в трещины в полу,

Его метёт почтарка в мягких валенках.

Телеграфа в Зум-Булуге действительно не было. А вот телеграмма всё-таки была. Правда, не от любимой девушки, сотканной в моём воображении из множества знакомых лиц, а от начальника управления... Но об этом, дорогой читатель, ты уже знаешь.

Ответа же на своё письмо из Тулуна в Питер я так и не дождался ни осенью, ни зимой...

Зато весной, кажется, в апреле, пришло письмо из Москвы. Из Ли-

тературного института, в котором говорилось: «Ваши рассказы прошли творческий конкурс (сорок человек на место!). Вступительные экзамены начнутся 1 августа. Перед экзаменами необходимо собеседование, поэтому просим прибыть в Москву по адресу: Тверской бульвар, 25, заблаговременно».

В декабре следующего года, вернувшись после сессии и таких насыщенных всевозможными, в основном приятными, событиями дней домой, я совершенно неожиданно получил новогоднюю открытку – «раскрывашку» от Тучкиной Елены («И как она только узнала новый адрес?»), в которой та поздравляла меня с Новым годом! И сообщала, что «Успешно защитила диссертацию и ещё более успешно, по мнению всех знакомых, вышла замуж за... да ты его наверняка помнишь, занудный такой, с вашей биостанции на Белом море – Виктора Бергера», молодого, талантливое, очень перспективного учёного, доктора наук. Последних слов в открытке не было, их мысленно дописал я, потому что знал Бергера, работал с ним в своей, теперь уже такой далёкой питерской поре. Открытка же заканчивалась словами: «У меня всё хорошо. Как ты? По-прежнему ли меришь километры необъятной своей Сибири, как ты писал мне из городка с чудным названием, кажется, Тулон?.. Где ты мотаешься теперь? Каковы твои планы? Навестил бы как-нибудь нас в нашей северной столице. Тем более с супругом вы знакомы. Больше нет места для слов, а чувства на бумаге не передашь... Всего тебе доброго. Вспоминай меня, хоть иногда... До свидания».

До свидания, в данном случае, скорее всего, означало: «Прощай». «И, если навсегда, то навсегда прощай», – додумал я. Понимая, что этой пространной открыткой-письмецом была поставлена жирная точка, и прочерчена не менее жирная черта, отделяющая мою прошлую, питерскую, и нынешнюю, такую же, впрочем, как и прежде, неопределённую в перспективе жизнь.

Прочитав весточку от Елены, я улыбнулся – не столько этому запоздалому посланию, сколько тому, что я предугадал его появление в том стихотворении, написанном в улусе Зум-Булуг.

Только в стихотворении вместо Питера была Москва. И эта московская девушка любила героя. И он её любил. И всё у них складывалось хорошо. Так хорошо, как редко бывает в реальной жизни...

Впрочем, «в молодые наши лета» поражения предпочтительней побед.